

¹¹ См. о нем: *Каган М. Д.* Исая Каменчанин // Словарь книжников и книжности Древней Руси. Л., 1988. Вып. 1, ч. 1. С. 441–448; *Синицина Н. В.* Исая Каменец-Подольский и Максим Грек (из истории культуры второй половины XVI в.) // Литература и искусство в системе культур. М., 1988. С. 195–203.

¹² См.: *Белокуров С. А.* О библиотеке московских государей в XVI столетии. М., 1898. Прил. С. III–I. По мнению И. Денисова, Исая Каменчанин, которого он отождествил с киевским митрополитом Исайей Копинским, также являлся автором подробного «Сказания известна о приходе на Русь Максима Грека и како претерпе до скончания своего» (см.: *Denissoff E.* Une biographie de Maxime le Grec par le mѣtropolite Jsaję Kopinski // *Orientalia Christiana Periodica*. 1956. Vol. 22. P. 138–171).

¹³ См.: *Пушкарев Л. Н.* Юрий Крижанич: Очерк жизни и творчества. М., 1984.

¹⁴ См.: *Шашков А. Т.* Юрий Крижанич и Федор Трофимов в сибирской ссылке: Из истории идейной борьбы третьей четверти XVII в. // Исследования по истории книжной и традиционной народной культуры Севера. Сыктывкар, 1997. С. 152–167.

¹⁵ См.: *Крижанич Ю.* Обличение на Соловецкую челобитную. Казань, 1878.

¹⁶ Подробнее см.: *Шашков А. Т.* «Обличение на Соловецкую челобитную» Юрия Крижанича и споры XVII в. вокруг наследия Максима Грека // Сибирское источниковедение и археография. Новосибирск, 1980. С. 59–72.

¹⁷ *Крижанич Ю.* Обличение на Соловецкую челобитную. С. 31.

В. Н. Земцов

Аббат Сюрюг и французский «миф» о московском пожаре 1812 г.

Почти двести лет тема московского пожара 1812 г. является знаковой для русского человека. Пройдя огонь и пепел «само-сожжения» первопрестольной, Россия и русские возродились к новой жизни, преисполненной ощущением безграничной силы и законности своего места среди великих народов. Однако вопрос о причинах (а следовательно, и о историческом смысле и роли) великого московского пожара до сих пор не решен. За двести лет отечественная историография, кажется, исчерпала весь набор возможных версий. На этом фоне французская

версия выглядит значительно более последовательной. Она связывает пожар почти исключительно с инициативой, исходившей от русской стороны и в особенности от московского генерал-губернатора Ф. В. Ростопчина. Русские, движимые «варварскими» понятиями о патриотизме, сознательно обрекли столицу на уничтожение. Родилась эта версия еще в горящей Москве и огромную роль в ее рождении сыграл кюре французской католической церкви в Москве аббат А. Сюриг¹.

Будущий аббат Адриан Сюриг родился 31 ноября* 1753 г. в селении Кламси, вошедшем позже в департамент Ньевр. Его отец — Франсуа Сюриг — владел судами, которые перевозили по р. Ионне разные грузы. 3 февраля 1739 г. 34-летний Франсуа Сюриг вторично женился на Барбаре Кокиль, 20-летней дочери уважаемого местного купца Николя Кокиль. Начиная с 1740 г. Барбара почти каждый год рожала по ребенку. Адриан оказался одиннадцатым!² Нам ничего не известно о детстве Адриана Сюрига, не знаем даже, когда именно он появляется в парижской Сорбонне, которая была в те годы теологическим факультетом. Известно только, что его отец имел в Париже многочисленные дела, а одна из сестер Адриана — Барбара — вышла замуж за Франсуа Моро де Шарни, проживавшего в столице. В Сорбонне Адриан получил степень доктора теологии и, вероятно, некоторое время (видимо, с 1783 г.) преподавал в коллеже Св. Варвары. Именно здесь завязались у него тесные дружеские связи с некоторыми священнослужителями, составлявшими профессорский состав и большей частью принадлежавшими к бывшему ордену иезуитов, деятельность которого на территории Франции в начале 60-х гг. XVIII в. была запрещена. Наиболее известным членом ордена иезуитов, с которым Адриан подружился, был Шарль Николь (1758—1835), преподававший в коллеже Св. Варвары с 1782 г. Позже он станет наставником детей графа Шуазель-Гофье, эмигрантом, основателем знаменитого пансиона в Санкт-Петербурге, где будут обучаться дети Голицыных, Нарышкиных, Гагариных, Меншиковых, Орловых, Кочубеев и Любомирских, а затем — основателем еще более известного Ришельевского лицея в Одессе.

* Все даты, кроме особо указанных, даны по новому стилю.

Покинув Россию вместе с иезуитами в 1820 г., он станет заметным деятелем Франции времен Реставрации, духовником короля Карла X, ректором Парижской академии и руководителем родного коллежа Св. Варвары. Нет сомнений, что и Адриан Сюрюг в парижские годы вступил в члены запрещенного, но реально существующего братства ордена Иисуса.

В 1785 г., уже аббат, Адриан Сюрюг становится директором (принципалом) королевского коллежа в Тулузе. Сюрюгу пришлось не просто. Во-первых, коллеж был в трудном материальном положении, имея дефицит финансового баланса в 50 тыс. ливров! Во-вторых, между местным правительством и персоналом коллежа возникали постоянные конфликты. В-третьих, не были упорядочены вопросы прав и обязанностей между дирекцией коллежа и профессорским составом. Вскоре Сюрюг увидел, что и процесс обучения был совершенно запущен. Сюрюг окунулся в дела коллежа с головой. Благодаря систематической напряженной работе он добился изменения системы классных экзаменов, усилил принципы состязательности между учениками, разграничил функции административного и преподавательского персонала, сгладил противоречия с местными властями, повысил доходность владений коллежа, благодаря которым он и существовал. Сюрюг пришел к выводу о недостаточном количестве кафедр в коллеже, открыл ряд новых, среди которых была кафедра химии и экспериментальной физики. По мнению директора, эти науки, «которые ранее не были разрешены по невежеству», «в свете новых открытий, которыми они обогатились, привлекли к себе большое количество сторонников просвещения»³. Сюрюг добился того, чтобы штаты Лангедока взяли на себя значительную часть расходов по сооружению и организации физического кабинета; найден был и руководитель физического кабинета — профессор химии из Монпелье Шапталь, применявший с успехом начала этих наук на практике.

Первые события французской революции имели слабое влияние на королевский коллеж в Тулузе. Однако когда с июня 1790 г. начался процесс огосударствления церкви и были приняты декреты о присяге священнослужителей Конституции,

этими обстоятельствами воспользовался ряд профессоров коллежа, составлявших оппозицию Сюрюгу. Они донесли на директора как на человека, который не склонен давать гражданскую присягу. В мае 1791 г. Директория дистрикта Тулузы потребовала от Сюрюга дать ответ по поводу гражданской присяги. Сюрюг заявил, «что гражданская присяга в отношении гражданской Конституции со стороны клирика несовместима с религиозными принципами» и что он, Сюрюг, упорствует в своем отказе дать такую присягу. Тем не менее, благодаря важной роли, которую Сюрюг играл в Тулузе, репрессии против него были применены не сразу. Только 2 октября, когда члены Директории департамента отправились в коллеж для открытия классов и их должен был встречать директор, период неопределенности закончился. 26 октября было объявлено, что место директора коллежа вакантно. Сюрюг выступил 14 ноября на заседании административного совета коллежа с впечатляющей речью, в которой заявил о невозможности идти против своей совести и выразил признательность коллегам за ту поддержку, которую ощущал в тяжелые для него последние месяцы пребывания на посту директора⁴.

Покинув тулузский коллеж, Сюрюг возвратился в родной Кламси, затаив в душе обиду. Он смутно представлял свою дальнейшую судьбу. С собой из Тулузы он увез большую библиотеку, которую смог собрать за годы жизни в Париже и Лангедоке. Через несколько месяцев он и вовсе покинет Францию. Библиотека осталась, вероятно, в Кламси, и судьба ее неизвестна.

Поторопиться с отъездом в изгнание Сюрюга заставили новые декреты Законодательного собрания против неприсягнувших священников, принятые в мае — августе 1792 г. Но, видимо, Сюрюг ко времени отъезда уже представлял свою будущую миссию — он должен был отправиться на восток Европы, в Польшу, а точнее — в Вильно. Регион Польши, или бывшей Польши, был в те годы в Европе чуть ли не единственным, где могли практически свободно действовать иезуиты. Теперь в этих краях оказался французский эмигрант иезуит аббат Сюрюг.

Нам хорошо известно, какие впечатления производила Литва в те годы на западноевропейских путешественников. «Каждая

деревня являет картину беспорядка и разрушения», а все литовцы имеют «восточный вид», — отметил в 1793 г. в своем путевом журнале И. К. Шульц⁵. Чуть раньше, зимой 1790/91 гг. проезжал по этим местам французский эмигрант Ш.-М. маркиз де Салаберри. Современный историк Л. Вульф, думается, точно охарактеризовал его чувства: «Он оставил Старый режим в руинах и с горечью цеплялся за ощущение превосходства собственной цивилизации»⁶. Жаль, очень жаль, что замечательная библиотека Сюрюга, собранная им при Старом порядке, исчезла. Мы могли бы более или менее точно сказать, что именно Сюрюг читал ранее о России и Польше, какие из работ Вольтера, Ш.-Л. Монтескье, Л. де Жакура, а то и П.-Ш. Левека, Ж.-Б. д'Анвилля, аббата Шапп д'Атроша он держал в руках. Многие бы стало тогда понятным и в его последующих действиях, и в том, что он напишет о событиях в России в 1812 г. И все же выскажем предположение, что аббат Сюрюг, выезжая в Вильно, а затем в Москву, уже имел некоторое представление о поляках и русских, Литве и России, основанное на западноевропейской литературе XVIII в. То, что он увидел сам и с чем столкнулся, казалось, только укрепляло сложившиеся в его голове стереотипы.

В Литве Сюрюг по крайней мере три года прослужил каноником коллегии местечка Пильзен (Piltен или Pilsen), которое входило в диоцез Вильно. Но уже в 1796 г. или 1797 г. он, вероятно по рекомендации аббата Николя, стал наставником детей графа А. И. Мусина-Пушкина, великого историка, археографа и издателя. Алексей Иванович, выйдя в 1799 г. в отставку, окончательно осел в Москве, поселившись в огромном доме на Разгуляе. (На стене этого дома еще много лет спустя исправно будут показывать время солнечные часы, сооруженные Сюрюгом, а московские извозчики будут специально туда заезжать, чтобы справиться о том, который сейчас час.) Аббат Сюрюг должен был заботиться о воспитании и образовании сразу нескольких детей графа. Есть свидетельства, что в учебных целях ему пришлось даже разработать учебники по истории, французской литературе и мифологии. Особенно сильным оказалось влияние Сюрюга на второго сына Мусина-Пушкина —

Александра, родившегося в 1789 г. и подававшего большие надежды стать наследником исторических изысканий графа Алексея Ивановича. Александр пристрастился к переводам с французского на русский и с русского на французский, прекрасно овладел картографией. Не исключено, что аббат Сюриг, пробывший в семье графа 12 лет, имел возможности общаться и с блестящим окружением графа — Н. М. Карамзиным, Н. Н. Бантыш-Каменским и др. Сам Алексей Иванович, известный борец против «вредной галломании», видя успехи детей, проникся к эмигранту искренней симпатией. Особенно была расположена к Сюригу супруга Алексея Ивановича графиня Мусина-Пушкина.

В конце XVIII — начале XIX в. некоторые высокопоставленные семьи проявили склонность к римско-католической церкви (к примеру, Голицыны и Долгорукие). И в этой обстановке иезуиты-эмигранты решили не упускать возможностей и обратиться в католичество нескольких представителей русской аристократии. Нас особенно интересует факт перехода в католическую веру Екатерины Петровны Ростопчиной. Началось с того, что родная сестра Екатерины Петровны, Александра Петровна, сгорбив в 1802 г. своего мужа А. А. Голицына, шталмейстера и сенатора, приняла католическую веру благодаря аббату де Бийи (по другим сведениям, благодаря шевалье д'Огарду). Именно у нее Екатерина Петровна познакомилась с аббатом Сюригом. В конечном итоге Сюриг убедил Екатерину Петровну в необходимости перемены веры, принял ее тайное отречение от православия и ввел ее в лоно новой церкви⁷.

В 1808 г. Сюриг становится настоятелем церкви Св. Людовика. Это назначение вновь состоялось благодаря аббату Николю, который обратился с письмом к архиепископу Могилевскому в декабре 1807 г. Когда долгие формальности вступления в должность были утрясены, в начале ноября 1808 г. Сюриг сообщил о своем уходе семейству Мусиных-Пушкиных. Расставание было горестным, по крайней мере для детей и их матери. Мусина-Пушкина, испытывая чувство признательности к аббату, взяла на себя большую часть расходов по внутреннему обустройству церкви.

Благоприятно для Сюрюга развивались и отношения с семейством Ростопчиных. Екатерина Петровна часто приводила детей, воспитателем которых был аббат де Бийи, на службу в церковь Св. Людовика. Удивительно, но и граф Федор Васильевич Ростопчин был там несколько раз.

Когда Ростопчин был назначен в 1812 г. московским главнокомандующим, Сюрюг стал частым гостем в его доме на Лубянке, который находился в непосредственной близости от церкви Св. Людовика. Нередко прямо в доме главнокомандующего, прогуливаясь после обеда по анфиладам комнат или по дорожкам сада, он исповедовал Екатерину Петровну. Для того чтобы тайно причащать ее, аббат завел специальный серебряный ящичек-дароносицу, которую надевал на шею своей спутнице. Роль дарохранительницы играло специальное пространство одного из шкафов черного дерева, инкрустированного слоновой костью.

С началом военных действий Наполеона против России положение иностранцев в Москве заметно осложнилось. Ростопчин, ранее предлагавший вообще очистить Москву от иностранцев, что не было поддержано Александром I, теперь не просто усилил за ними общий надзор, но и начал в своих знаменитых «афишках» возбуждать против них русское население.

«Иностранцы, — писал Ростопчин в воспоминаниях, — особенно французы: коммерсанты, артисты и другие лица, проживавшие в Москве, держали себя очень осторожно, так как я, с самого начала войны, дал им предупреждение, через посредство их священников, которым я, по этому предмету, разослал циркуляр. Но русский народ всегда глядел на них косо, вследствие преимуществ, доставляемых им званием иностранца, и обвинял их в том, что они отнимают у него барыш от торговли и работы»⁸. Ростопчину, в частности, стало известно об обширном заговоре среди не менее 300 русских портных, целью которого было истребить всех французов, проживавших на Кузнецком мосту. Раскрытие этого заговора заставило Ростопчина арестовать 40 (по другим данным — 43) иностранцев, «которые были замечены по своим неуместным речам и по дурному

поведению», и отправить их на барже в Нижний Новгород. Ростопчин был уверен, что этой ссылкой он многим из иностранцев спас жизнь. Сами же жертвы высылки, их семьи, да и все московские иностранцы, воспринимали этот шаг главнокомандующего иначе, а именно как акт жестокого преследования.

Накануне сдачи первопрестольной русскими войсками по Москве упорно ходили слухи о готовности Ростопчина сжечь город (не исключалось даже, что он намеревался сделать это не только по своей инициативе, но и с благословения стоявших выше него); говорили, что в подмосковном имении строится неким Шмитом летательный аппарат, с помощью которого можно будет то ли уничтожить неприятеля, то ли сжечь Москву, что московская чернь с попустительства, а то и при поощрении городского начальства собирается перебить всех оставшихся в городе иностранцев и т. д. Наконец, накануне вступления войск Наполеона в Москву стало известно, что Ростопчин выпустил из тюрем колодников, которые начали творить поджоги и бесчинства. Именно эти настроения (и надо признать, что не беспочвенные) московских иностранцев, многие из которых были прихожанами церкви Св. Людовика, и стали источником главных сведений командования и солдат Великой армии о зловещих замыслах Ростопчина и русского правительства уничтожить Москву вместе со всей армией неприятеля.

Начавшиеся уже 14 сентября пожары и грабежи стали для московских иностранцев подлинной катастрофой. Не только для французской солдатни, но и для офицеров они были не более чем презренными и недобитыми эмигрантами, а значит, и должны были испить до дна горькую чашу московских погорельцев. Единственной их опорой в первые дни пожаров оказался только аббат Сюрюг. Актриса Л. Фюзиль, чьи воспоминания вышли в Париже уже в 1814 г., писала: «Довольно большая площадь, принадлежащая церкви, была застроена деревянными домиками, где бедные иностранцы находили во всякое время приют. Пока город горел, солдаты грабили его. Все женщины, дети и старики попрятались в церкви. Когда появились солдаты, аббат Сюрюг открыл двери и в полном

облачении с распятием в руках, окруженный этими несчастными, единственной опорой которых был он, с уверенностью предстал перед озверелыми солдатами, которые с уважением попятились перед ним». Далее Фюзиль пишет: «Аббат Сюрюг попросил стражу для охраны несчастных семей, и ему ее тотчас же дали. Наполеон хотел его видеть и всячески убеждал вернуться во Францию. “Нет, — отвечал тот, — я не хочу бросать свое стадо, которому могу быть еще полезен”. Хотя в съестных припасах уже чувствовался недостаток, их все-таки посылали аббату, и он делил их, как добрый пастырь»⁹. В одном из писем самого Сюрюга говорится, что никакой встречи с Наполеоном у него не было: «В течение шестинедельного пребывания здесь французов я не видел даже тени Наполеона и не стремился увидеть его. Говорили, что он собирается позвать меня, и это сообщение меня испугало; к счастью, оно не оправдалось. Он не посетил нашу церковь и, вероятно, не думал об этом»¹⁰. Из писем Сюрюга, в частности к аббату Николу от 10 ноября (ст. ст.), достаточно точно можно установить, с кем именно из высших чинов Великой армии и французской администрации он встречался. Первой была встреча с Э.-Ж.-Б. Мийо, дивизионным генералом и военным комендантом Москвы, затем — с маршалом Э.-А.-К. Мортье, назначенным генерал-губернатором провинции, потом — с генерал-интендантом Великой армии М. Дюма. Была встреча и с гражданским губернатором М.-М.-П. Лессепсом¹¹.

11 октября (ст. ст.), когда французы ушли из Москвы, в церкви Св. Людовика появились русские казаки, которые, к радости Сюрюга, взяли только часть серебряной посуды, сукно, вино, рыбу и овощи. После перенесенных бедствий аббат Сюрюг был физически и нравственно истощен. Несмотря на это, он продолжал вести церковную службу, заботиться о судьбе беженцев, размещенных в строениях церкви, посещать раненых и больных французских солдат, оставленных в Москве. Когда в Москву возвратился Ростопчин, Сюрюг поспешил встретиться с ним. Однако аббата ждал суровый прием. Как оказалось, Екатерина Петровна все же поведала мужу о переходе в католичество. «Ты совершил подлый поступок», — бросил аббату

Ростопчин и более не принимал его у себя. Все попытки Сюрюга объясниться только усугубляли ситуацию¹².

21 декабря (ст. ст.) аббат Сюрюг скончался. Согласно одной из версий, когда он сопровождал тело умершего в госпитале французского солдата на кладбище, его остановила, ограбила и, видимо, избилла группа казаков, оставив замерзать на снегу. Сюрюг с трудом смог добраться до дома и уже более не поднимался на ноги¹³.

Такова была судьба аббата Сюрюга, одного из главных прародителей французской версии московского пожара. И все же его внутренний мир, система духовных и интеллектуальных принципов, породившие великий исторический «миф» (в сущности, не отделимый от исторической правды), так и остались для нас не до конца ясными. Между тем в нашем распоряжении имеется огромный пласт материалов, вышедших либо из-под пера самого Сюрюга, либо со стенографической точностью зафиксировавших его устные выступления в период деятельности в Тулузе¹⁴. На основе этих материалов попытаемся набросать картину, которую можно было бы сравнить с «духовной картографией», состоящей из своеобразных интеллектуальных, культурных и мировоззренческих срезов личности нашего героя, дополненных штрихами его характера. Такого рода «идеокартография» в разных вариантах широко практиковалась в семиотике, лингвистике, культурно-исторической антропологии и особенно в «новой биографической истории» и «персональной истории».

По-видимому, будет правильным начать реконструкцию внутреннего мира Сюрюга с того, что характеризует его образование и в целом сферу его духовной культуры. Письма (но только те, которые были отправлены его собратям — аббатам Николю, де Бийи и отцу Буве) насыщены аллюзиями и реминисценциями образов и фрагментов античной литературы. «...Fuimus Trajani, fuit Ilium, ingens Gloria Moscoviae!» — восклицает он в письме Николю (вместе с которым, без сомнения, читал Вергилия в стенах коллежа Св. Варвары), используя строки из «Энеиды». У Вергилия первую часть этой фразы производит троянский жрец Панфой, наблюдавший горящую Трою:

*Venit summa et ineluctabile tempus
Dardaniae, Fuimus Troes, fuit Ili(um) et ingens
Gloria Tencrorum¹⁵.
(«День последний пришел, неминуемый срок наступает
Царству дарданскому! Был Илион, троянцы и слава
Громкая тевкров была...». Пер. С. Ошерова)*

Gloria Tencrorum заменена на Gloria Moscoviae. Что ж, Аббат Сюрюг действительно был свидетелем грандиозной трагедии и ясно чувствовал сопричастность к великой истории, объединившей пожар Трои и пожар Москвы.

В письме Буве, с которым он, видимо, был не в столь давних и тесных отношениях, как с аббатом Николем, Сюрюг также прибегает к латыни, характеризуя величие перенесенных потрясений: «Sic tamen quasi per ignem» (*Вот так мы словно прошли сквозь огонь*). И далее — предвидя еще многие трудности в разоренной Москве: «Usque quo, Domine?» (*До каких пор, Господи?*). Возможно, эти фразы также должны были вызывать в человеке, воспитанном в атмосфере античной литературы, определенные аллюзии. Но какие? Как трудно переместиться в культурный пласт иезуитского аббата второй половины XVIII — начала XIX в.!

Письмо архиепископу Сестренцевичу полностью написано по-латыни, которая для людей круга Сюрюга была, без сомнения, живым языком. В послании Николю, переходя с французского на латынь («Quand omnia licent, etiam nom omnia expediunt» — *Когда все продается, не все рассказывают*), наш герой многозначительно намекает на невозможность рассказать все то, что реально произошло и происходит в Москве.

В текстах, написанных по-французски, Сюрюг нередко также использует патетический слог, характерный для античной литературы. «Москвы уже нет! Обширный очаг пепла на месте этого прекрасного города. Несколько строений, пощаженных пламенем, виднеются кое-где и свидетельствуют о его прежнем величии; да высокие кремлевские соборы указывают еще место древней столицы России» (письмо Николю). Волны пламени Сюрюг сравнивает с «волнами морскими».

Весьма тонко демонстрирует Сюрюг и свое знание французской истории: в письме де Бийи он сравнивает графиню

Ростопчину, надеясь на ее влияние на мужа, выгодное для иезуитов, с Бланкой Кастильской, французской королевой, матерью Людовика IX Святого. Формально вступив на престол в 1226 г., Людовик находился под регентством своей мудрой матери, советы которой с благодарностью принимал и много лет позже. Напомним, что московская церковь была освящена в честь Людовика Святого.

Духовный мир, контуры которого стали формироваться в парижской Сорбонне (а может быть, и раньше?), у Сюрюга был абсолютно слит с римско-католической религией, в лоне которой он пребывал. Когда во время французской революции Сюрюг оказался перед выбором: принять ли гражданскую присягу и остаться директором коллежа, которому он посвятил тяжкие труды, либо отказаться от присяги и покинуть коллеж — он решительно избрал последнее. Объясняя свои действия, он заявил, что не уступит «человеческой слабости», «идя против воли своей совести», так как есть «более великий принцип — подумать о своей душе». «Я доказываю своими действиями, что подлинный патриотизм не может быть несовместимым с обязанностями, которые накладывает религия; поэтому передо мной не возникает вопрос о том, стыдиться ли принципов, которые я исповедую; и мое поведение не может оскорбить меня в собственных глазах... Если однажды моя теперешняя твердость станет причиной сожалений, я найду в глубинах моего сердца более веские причины, чтобы утешиться» (выступление перед администрацией тулузского коллежа 26 октября 1791 г.).

Религиозные принципы, которыми руководствовался Сюрюг в жизни, сопрягались с убежденностью в силе божественного провидения. Чудесное спасение деревянной церкви Св. Людовика во время пожара он приписывает «явному чуду благодати Божией» (в письме аббату Николу), «чудесному покровительству Провидения» (в «Журнале» и в письме отцу Буве). Правда, в письме к своему непосредственному начальнику митрополиту Сестренцевичу (с которым, как представляется, отношения были не всегда простыми из-за его борьбы с иезуитским влиянием) количество упоминаний «милосердия Всемо-

гущего», «великой милости Господа», «ниспосланного небесного благословения» заметно возрастает. Сюрюг подлинный открывается нам в письме аббату Николю и в записях в «Журнал» для истории: он твердо верит в Господа, но эта вера лишена слащавости и позерства, она есть основа для рационально продуманных волевых поступков самого человека.

Для Сюрюга религиозные принципы лежат в основе самоуважения и чувства человеческого достоинства и, конечно, неразрывно соединены с ощущением пастырского долга. «С самого начала я объявил, — пишет он аббату Николю, своему другу, позерство в общении с которым было немыслимо, — что ничто не вырвет меня из среды моей паствы, что угрожающие ей бедствия служат для меня побудительною причиною быть верным ей, дабы оказать ей единственную действительную помощь, которая остается для несчастных, подвергшихся стольким ужасам. [Они], казалось, были удивлены тем, что они называли моим мужеством, а между тем ничто не должно представляться более естественным тому, кто понимает служение пастырское». Когда маршал Мортье предложил Сюрюгу возвратиться во Францию и занять более заметное место, чем должность кюре, аббат ответил: «Господин маршал, религиозные принципы, удалившие меня из Франции, все еще удерживают меня здесь; впрочем, я вижу ясно то небольшое добро, которое я делаю, будучи только приходским священником в Москве, и не совсем предвижу то добро, которое я мог бы сделать, будучи во Франции более чем приходским священником».

Религия стала для Сюрюга и главным нравственным мерилom поведения как наполеоновской армии в Москве, так и действий русских властей и православного духовенства. 19 октября (ст. ст.) 1812 г. он пишет отцу Буве о наполеоновских солдатах так: «...в церкви почти никто из французской армии не появлялся, за исключением 4 или 5 офицеров из старых фамилий Франции, двое или трое исповедались. Кроме того, ты можешь судить о христианстве этой армии, когда я скажу тебе, что в армии в 400 тыс., которая пересекла Неман, даже не было ни одного капеллана. Среди более 12 тыс. умерших здесь я не похоронил с обычными церемониями никого, за исключением

одного офицера и одного слуги генерала Груши, все остальные, офицеры и солдаты, были зарыты своими в первом же близлежащем саду. Они даже не предполагают возможности обретения другой жизни. Я имел случай посетить палату с ранеными офицерами; все мне говорили о своих физических страданиях, и никто не упомянул о душевных, а тем временем третья часть из них была при смерти. Я окрестил нескольких солдатских детей; это единственная вещь, которую они все же хотят, и со мной обошлись с почтением. В остальном религия для них не более чем пустой звук».

Но строки, посвященные отношению русских к религии, звучат еще более жестко, можно сказать, обличающе жестоко. «Церкви, — пишет Сюрюг аббату Николю, — оставленные своими настоятелями, были превращены в караульни. Служители, поставленные на стражу Израиля, скрылись или бежали». «Церкви были покинуты, — пишет автор в «Журнале», — я не знаю, по какой-то политической причине или по ослеплению. В течение целых двух недель ни один звук колокола не прозвучал в городе, в котором храмы были в таком изобилии. Не встретилось ни одного попа, не было каких-либо признаков отправления службы; люди среди ужаса страшного бедствия не имели возможности излить свою душу у алтаря своего бога и воспользоваться этой последней возможностью, которая была у несчастных»¹⁶. «Сами французские власти, — пишет аббат, — пытались организовать религиозную службу, но попы уклонялись... Решились только трое или четверо к концу третьей недели». Реально же, как сообщал Сюрюг в «Журнале», начал службу только один, в церкви Св. Евпла. «Это иностранный священник, — с удовольствием констатировал наш герой, — духовник полка кавалергардов».

В целом именно религиозное начало было для Сюрюга своего рода стержнем, вокруг которого вращались представления о революции, Наполеоне и его армии, представления о человеческом достоинстве, величии духа и стойкости, об отношении к русским, к их культуре и религии.

Начнем с характеристики Наполеона и его армии. Эта характеристика определялась двойственным положением самого

Сюрюга как эмигранта. Правда, в беседе (которая скорее походила на допрос с точным фиксированием ответов Сюрюга секретарем!) с маршалом Мортье в ответ на вопрос последнего аббат несколько иначе определил свой собственный статус. «Как вы покинули Францию?» — задал вопрос Мортье. «Я оставил Францию 21 год тому назад вследствие требования присяги от лиц, занимавших общественные должности». — «А, понимаю, господин аббат — эмигрант?» — «Нет, господин маршал, я ссыльный». «Изгнанник порядка» — так он назвал себя в письме графине Ростопчиной¹⁷.

Наполеон для Сюрюга — опасный тиран, обладающий чудовищной силой, всколыхнувшей все худшее в человеческой природе. «Манера, которой этот человек овладел духом солдат и начальников армии, — пишет Сюрюг Буве, — дает ему чудовищную власть. Ни один из его генералов, тем более тех, кто стоит ниже их, не имеет своего мнения; никто даже не думает противоречить, и говорят, что слово *невозможно* для него не существует». С явным удовлетворением пишет Сюрюг о том, что, — хвала Господу! — ему не довелось лично встретиться с Наполеоном. И вместе с тем Наполеон — человек европейской культуры. Он не мог даже допустить мысли о том, что русские станут поджигать Москву. Прибыв 3-го сентября (ст. ст.) в Москву, Наполеон был «удивлен значительным пожаром, и удивление (именно удивление! — В. З.) его еще более усилилось, когда он узнал, что не осталось никаких средств остановить огонь» (письмо Николью). Наполеон, как писал Сюрюг в «Журнале», был просто растерян. Аббат считает совершенно естественным, что этот злобный тиран сразу же после прекращения пожара отдал приказ открыть приюты для погоревших, распорядился организовать раздачу продовольственных рационов, приказал подготовить отчет о состоянии госпиталей и о числе больных. Далее Сюрюг описывает, как «Наполеон отправился в Воспитательный дом, поблагодарил управляющего Тутолмина как за его усердие, так и за то, что он остался на своем месте». С искренней благодарностью пишет аббат и о том, что французское командование сразу же по вступлении в город приказало организовать охрану церкви Св. Людовика. В письме

Николу Сюриг не скрыл, что именно благодаря «милости неустрашимой стражи» здание церкви осталось не подвергнутое разграблению. Отмечает аббат (в письме Буве) и то, что власти даже попытались организовать отправление в Москве национального религиозного культа, но из-за уклонения русских попов этого сделать не удалось.

Значительно в более жестких выражениях описывает Сюриг французскую армию как таковую. Она для него не иначе как «банда грабителей», которая «не уважала ни стыдливости робкого пола, ни невинности ребенка в колыбели, ни седых волос стариков» («Журнал»). «Видели, как эти святыни (иконы. — В. З.) использовались для разделки мяса... Солдат не проявлял никакой щепетильности, отправляя свои обычные дела светского характера, и поэтому он считал возможным делать все [в любых] зданиях, которые были либо покинуты, либо пощажены огнем. Наконец, была нарушена неприкосновенность святых гробниц! Никогда захваченный приступом город не был свидетелем подобных крайностей, и французский офицер сам сознавался, что после эпохи революции французская армия никогда не становилась виновницей столь страшного беспорядка, при этом сваливая вину на иностранные войска, в особенности на поляков, уверяя, что они имели особые причины для такой мести» («Журнал»). Это «враг» — констатирует Сюриг в письме к Сестренцевичу; «враги страны» — пишет он Буве.

Однако строки, посвященные поведению русских — как простонародья, так и властей, — звучат еще более обличительно. «Население Москвы сыграло главную роль в грабежах: это оно начало грабеж лавок; это оно показывало наиболее скрытые подвалы французским солдатам...» — пишет Сюриг Буве. «Вообще, грабеж начала московская чернь и жители соседних деревень, — сообщает он в письме к аббату Николу, — они руководили солдатами при открытии секретных складов, они же вводили казаков в дома для довершения грабежа. Я не видел людей неблагодарнее и преступнее этой толпы». «Двери и подвалы кабаков, — повествует «Журнал» о первых часах после того, как русская армия покинула город, — были разнесены и водка лилась по улицам»¹⁸. С предельной точностью

описывает Сюрюг глумление толпы над телом Верещагина, убитого как пособника французов по приказу Ростопчина перед уходом из Москвы: «...его ноги были охвачены длинной веревкой и его окровавленный труп таскали по всем улицам посреди оскорблений со стороны населения» («Журнал»).

Констатирует Сюрюг и животное безразличие, с которым русское командование и русские власти отнеслись к судьбе своих раненых. После окончания первых пожаров, когда Наполеон возвратился в Кремль из Петровского дворца и потребовал информацию о местных госпиталях, ему доложили, что они «находятся в очень плачевном состоянии»; у больных «нет необходимой помощи», они «без врачей, без лекарств, без присмотра; что найдено множество уже умерших, что из более чем 15 тыс. раненых, привезенных недавно армией (имеется в виду русская армия, — В. З.), половина погибла, одни от огня, другие от отсутствия помощи, а оставшиеся находятся между нуждой и смертью» («Журнал»). При этом изверг и тиран Наполеон «немедленно отдал приказ всем хирургам французской армии организовать помощь всем больным, разместить их по удобным домам и представить рапорты о состоянии этих несчастных» («Журнал»).

И наоборот, обращение русских с оказавшимися в их руках больными французами было самым бесчеловечным. В письме аббату Николю Сюрюг написал, что крестьяне истребили тех больных, которые попытались следовать за отступившей французской армией (письмо Николю). В «Журнале» он еще более сгустил краски этого эпизода. Следовало, что несчастные, оставленные Наполеоном на милость русских, предчувствуя свою судьбу, напились и были «захвачены врасплох крестьянами, устроившими избиение».

Кто же, по мнению Сюрюга, поджог Москву и обрек тысячи жителей и раненых на смерть и страдания? Непосредственных «поджигателей», тех, которые были исполнителями, Сюрюг не называет. Он только констатирует в «Журнале», что обвиненных французскими властями в поджигательстве стали расстреливать и что расстрелянные были «большей частью чины полиции, переодетые казаки, солдаты, сказавшиеся ранеными, и лица при

духовных школах (надо понимать, что семинаристы. — В. З.), которые расценивали это дело как угодное Богу (! — В. З.)». Варварское понимание «поджигателями» «богоугодности» поджогов и последующих грабежей было следствием инициативы самих властей, готовых принести в жертву не только богатства своей страны, но и жизни тысяч несчастных подданных, в числе которых были женщины, старики, дети, раненые и убогие... Как в «Журнале», так и в письмах отцу Буве Сюриг утверждал: система войны, ставившая целью превращение страны в «континентальную пустыню», что в совокупности с голодом и климатом должно было погубить неприятельскую армию, была одобрена самим русским правительством. Сожжение же Москвы вместе с французской армией, вероятно, было частью общего проекта. Поджог должен был осуществить проявивший в этом деле особый энтузиазм Ростопчин. Из письма Николю, где описывается встреча с Дюма, можно понять, что кюре церкви Св. Людовика состоял в переписке с Ростопчиным, в ходе которой обсуждалась «теперешняя война» и способы ее ведения! Таким образом, Сюриг задолго до начала пожаров знал о истинных намерениях московских властей. Может быть, иезуит и сам способствовал укреплению Ростопчина в его намерениях... В любом случае, он не преминул информировать французское командование о причинах московских пожаров.

В «Журнале» Сюриг записал, что в течение многих недель в имении Воронцово, в 6 верстах от города, накапливался арсенал средств для выполнения «великого проекта». 2 сентября (ст. ст.) в 6 утра Ростопчин дал в своем доме на Лубянке инструкции полиции по поджогу города, организовал освобождение заключенных, среди прочих использованных для исполнения проекта (были оставлены только двое заключенных — Верещагин и француз Мутон — для публичной расправы и возбуждения тем самым населения), вывез из города насосы. Пожар должен был быть дополнен грабежами, «как необходимую частью действий» в целях разорения города и разложения противника.

Как можно понять из письма к близкому другу аббату Николю, в котором описывалась беседа с Дюма, состоявшаяся

«на третьей неделе», Сюрюг пытался оправдать действия Ростопчина по организации поджогов: «Эта мера военная, которая ему показалась верным средством к удалению неприятеля из страны». Что это? Заявление для цензуры, в руки которой могло попасться письмо? Желание оправдать свою переписку с «главным поджигателем», в которой, возможно, аббат так и не решился осудить этот проект? Как многолик был этот иезуит!

Сюрюг утверждал, что и московские власти, и русское командование проявили чрезвычайное коварство по отношению к собственному населению. В письме к аббату Николу Сюрюг отметил, что русская армия вначале объявила, что «будет защищать город даже в том случае, если бы пришлось сражаться в стенах его, оставила Москву», и это не могло не дезориентировать жителей и не вызвать среди них панику. Хотя в заключение «Журнала» вопрос о том, был ли пожар «мерой абсолютно необходимой», Сюрюг предлагал «отнести на беспристрастный суд потомства», его отношение к русским как к народу и к его правительству достаточно прозрачно: их образ мыслей и действий он оценивает как варварские, как противостоящие высшим понятиям человечности и Бога¹⁹.

Чем же руководствовался аббат в своем собственном отношении к людям? Это отношение четко определялось теми своеобразными кругами, в которые Сюрюг помещал человека. Первый, своего рода внешний круг состоял из людей как таковых, вне национальной, религиозной и прочей принадлежности. Отношение к этому абстрактному человеку угадывается в письменном наследии Сюрюга с большим трудом. В сущности, кроме упоминания о страданиях «несчастных» жителей Москвы во время пожаров и грабежей, а также согласия с тем, что люди (без разбору — «француз и русский») были охвачены страстью к грабежам, нет ничего.

Но вот следующий круг очерчен более четко и отношение к людям, его заполняющим, видится вполне явственно. Это — паства кюре церкви Св. Людовика. Именно о них идет речь, когда аббат начинает более предметно говорить о страданиях московских погорельцев. Как в «Журнале», так и в письме к Николу Сюрюг поведал, что жители «этого квартала» (или

«слободы»), имея в виду иностранное, в основном французское, население Мясницкой части и тех из Немецкой слободы, которые прибегли к его помощи, были гонимы пожаром «с одного места на другое» и в конечном итоге «принуждены были удалиться на наше кладбище» (в дальнейшем оно будет названо Введенским). «Лица этих несчастных выражали ужас и отчаяние, они блуждали среди могил, освещенные отблесками пламени; они были похожи на привидения, вышедшие из гробов». Именно к ним пришел на помощь неаполитанский король (И. Мюрат), да и поддержка Наполеона распространялась прежде всего на них. Это был, как можно понять из текста Сюрига, естественный акт человеколюбия в отношении «своих», хотя в письме к Сестренцевичу, официальному представителю русских властей, аббат и пишет о наполеоновской армии как об армии «врагов».

Близки к этому кругу, удостоившемуся сочувствия Сюрига, и некоторые русские. Это те, с которыми аббата связывали длительные личные отношения и на которых он так или иначе смог благотворно повлиять, внушив им собственные представления о жизни и передав им тем самым часть своей культуры. Строки из письма племяннику, в которых Сюриг описывает прощание с семьей Мусина-Пушкина в ноябре 1808 г., когда он принимал на себя обязанности кюре, кажутся поначалу даже трогательными: «Невозможно расставаться с безразличием после того как прожил в доме более 12 лет... Дети и их папа не могли высказать мне всех бесконечных сожалений, а я не мог отказаться от того, чтобы не дать несколько уроков самым младшим из детей... чтобы не допустить с ними болезненного разрыва». Но далее: «Таким образом, я покинул место с жалованьем 2 тыс. рублей и дом, где я нашел для себя все равно что собственную семью... и который удовлетворял мои материальные потребности...»

Привязанность к другой русской семье — Ростопчиным — в еще большей степени оказалась связана с той практической пользой, которую можно было из этой дружбы извлечь. При этом Сюриг оплатил своему благодетелю Ростопчину самой черной неблагодарностью, добившись тайного перехода Екатерины

Петровны Ростопчиной в католичество. К тому же аббат, надевшийся сохранить с Ростопчиным хорошие отношения и после возвращения последнего в разоренную Москву, планируя представить дело так, что именно он сберег дом губернатора на Лубянке, не считал подлым при любом случае возлагать главную ответственность за пожары именно на Федора Васильевича.

Третий круг лиц — это коллеги Сюрюга, отношение к которым было самым предупредительным. Это относится как к коллегам по тулузскому коллежу, с которыми ему пришлось расстаться (в прощальной речи аббата к ним 26 октября 1791 г. нет и намека на какие-либо обиды и укоры), так и к собратьям из среды католического духовенства в России. Когда некоторые из числа католического причта, покинувшие при начале военных действий места своего пребывания в западных частях Российской империи, оказались в Москве, они нашли в лице Сюрюга своего защитника и благодетеля.

Вместе с тем Сюрюг не был склонен прощать своим коллегам — католическим священникам таких шагов, которые носили недружественный по отношению к нему характер и не свидетельствовали о ревностном исполнении долга. Именно это явствует из письма племяннику от 21 февраля 1809 г., где Сюрюг пишет о французских священниках, не оказавших ему помощь в организации церкви Св. Людовика в течение зимы 1808/09 гг.

Наконец, был человек (аббат Николь), с которым Сюрюга связывала длительная искренняя дружба. Она основывалась не только на памяти о годах, проведенных в коллеже Св. Варвары, и на взаимной поддержке в течение многих лет, но и, видимо, на полном совпадении главных жизненных принципов. «Мой дорогой и достойный друг! ...я пользуюсь первой свободной минутой, чтобы уведомить вас о том, что я жив. Сколько предметов, о которых я желал бы вам рассказать...» — пишет Сюрюг Николю 10 ноября (ст. ст.) 1812 г. Многое, очень многое в ходе своего общения два аббата понимали без слов.

Таким образом, отношение Сюрюга к людям четко определялось принадлежностью или непринадлежностью их к тем культурно-религиозным сферам, в которых формировался сам

аббат и принципам которых он следовал. Все, не принадлежавшее к западноевропейскому католическому миру, могло вызвать в Сюриге в лучшем случае только слабое сочувствие. Двадцатилетнее пребывание в России не только не привело к деформации первоначальной системы ценностей аббата Сюрига, но еще более укрепило его во взглядах на мир, Бога и человека, сформировавшихся у него еще во времена дореволюционной Франции. Вообще, деятельность и взгляды Сюрига могут представлять классический образец поступков и мировоззрения иезуита, образ которого вошел в историческую и художественную литературу XIX—XX вв. О принципах своих действий сам Сюриг писал так: «Я знаю страну (Россию. — В. З.), и я не действую в такой манере, которая могла бы скомпрометировать дело Бога и дело изгнанника Порядка. Вот почему я избегаю того, чтобы демонстрировать слишком большое рвение; я ограничиваюсь тем, что [только] направляю, и это всегда приводит к тому, что человек, получив таким образом направление, сам достигает желаемой цели» (письмо де Бийи).

Смена стилей и интонаций в письмах Сюрига, предназначенных разным людям, не может не восхитить. В послании к Сестренцевичу, главе католиков Российской империи, с которым, как мы уже отмечали, у Сюрига были непростые отношения из-за принадлежности последнего к ордену иезуитов, адресант приторно благочестив. В каждой фразе он вспоминает «великую милость Господа», «божественное Провидение» и пр., благодаря которым, как он пишет, мы получили возможность «сохранить невредимой веру, питаемую к нашим законным начальникам и властям». Он заверяет, что в самых трудных условиях, находясь среди «врагов Империи», он не совершил ничего, что было бы способно поставить его в конфликт «с верой, нашим министерством и нашей совестью». Умоляя Сестренцевича о пастырском благословении, Сюриг уверяет, что «в числе желаний и просьб, с которыми мы обращались к Нему (Господу. — В. З.) от глубины сердца, наиболее горячей была та, чтобы он соблаговолил сохранить надолго здоровье и невредимость достойному Понтифику, которого Святой Дух поставил во главе нашей церкви».

Не менее щедро Сюрюг льстил Ростопчину и его супруге. К началу войны 1812 г. аббат был убежден, что смог обеспечить себе безусловное покровительство московского главнокомандующего. «Смена губернатора нам выгодна. Враги не имеют никакого влияния на его дух», — пишет он аббату де Бийи. Главным инструментом воздействия на Ростопчина была его супруга Екатерина Петровна, которая, как полагал аббат, находилась под его полным влиянием. Тем большим ударом стало для Сюрюга известие, что она открыла мужу свой переход в католичество. Думается, что злые пассажи, обличавшие Ростопчина как главного виновника пожара, и фактически открытое предание гласности в последние месяцы 1812 г. содержания писем Сюрюга отцу Буве о роли Ростопчина могли быть своего рода мстью бывшему благодетелю, который отказался от общения с обманщиком-иезуитом.

Образ Сюрюга как интеллектуала и как личности в более широком смысле можно описывать и далее, характеризуя особенности его честолюбия, различные черты характера, например стойкость и личную храбрость, деловые стороны его натуры, представления о праве, государственном управлении и т. д. Поразительно, как много можно почерпнуть из текстов, вышедших из-под пера одного человека! Но нам важно сейчас сделать другое, а именно подытожить, какую роль сыграл аббат Сюрюг в становлении французской версии московского пожара. Конечно, не один Сюрюг оказался у истоков этой версии, но вклад его в ее создание, кажется, был решающим. Человек, получивший классическое иезуитское образование при Старом порядке, поразительно проницательный, знакомый с традициями французской «Россики» XVIII в., прекрасно знавший Россию сам; человек, близкий к русской аристократии, ставший «своим» в семействе Ростопчина и одновременно остававшийся глубоко враждебным ко всему русскому, в том числе и к своим благодетелям, — поистине это была уникальная личность, призванная решить грандиозную задачу создания исторического «мифа». И тем не менее, помимо того, что французская версия вобрала в себя впечатления и суждения множества других авторов, их описавших, очевидно и еще одно: Сюрюг был на-

следником и талантливым интерпретатором традиций старой «Россики», оформившейся во Франции в XVIII в. В сущности, наполеоновские авторы только воспользовались «русскими» наработками эпохи Старого порядка, одним из носителей которых и был аббат Сюрюг.

¹ См.: *Mélanges publiés par la Société des bibliophiles français*. P., 1820. T. 1; *Lettres sur la prise de Moscou, en 1812 (par l'abbé Surugue)*. P., 1821; *Surruques. L'abbé Surruques, témoin oculaire, et curé de l'église de Saint-Louis, à Moscou*. P., 1823; *Frappaz, l'abbé. Vie de l'abbé Nicolle*. P., 1857 (русский перевод письма: 1812 год. Французы в Москве (по рассказу аббата Сюрюга) // Рус. архив. 1882. № 4. С. 196—204); *Moscou pendant l'incendie. Journal du curé de Saint-Louis des Français* // *Correspondant*. 1891. Juin, № 25; *Surugue A. Mil huit cent douze. Les Français à Moscou* / Publ. par le R. P. Libercier. M., [1909]. Некий староста Григорий Андреев в письме к своему помещику от 6 ноября (ст. ст.) 1812 г. цитирует письмо Сюрюга «к одному из знакомых своих (отцу Буве. — В. З.)» (Пожар Москвы: По воспоминаниям и переписке современников. М., 1911. С. 117). Источниковедческую характеристику писем и «Журнала» Сюрюга см.: *Земцов В. Н. Аббат А. Сюрюг о московском пожаре 1812 года* // *Вопр. истории*. 2004. № 11. С. 137—143.

² *Mirot L. L'Abbé Adrien Surugue. Un témoin de la campagne de Russie*. P., 1914. P. 1—2.

³ Цит. по: *Mirot L.* *Op. cit.* P. 5.

⁴ *Ibid.* P. 9—11.

⁵ Цит. по: *Вульф Л.* *Изобретая Восточную Европу: Карта цивилизации в сознании эпохи Просвещения*. М., 2003. С. 488.

⁶ Цит. по: Там же. С. 88.

⁷ *Rostopchine L. Семейная хроника (1812 г.)*. М., б. г. С. 105—126; *Narichkine M-m (neü comtesse Rostopchine). Le comte Rostopchine et son temps*. St. Pétersbourg, 1912. P. 99—100; *Tolstoy D. A. Le Catholicisme Romain en Russie*. P., 1864. T. 2. P. 78—80, 195—196; *Pingaud L. Les Français en Russie et les Russes en France*. P., 1886. P. 315; *Морошкин М.* *Иезуиты в России с царствования Екатерины II и до нашего времени*. СПб., 1867. T. 1. С. 493; СПб., 1870. T. 2. С. 493. Примеч. 456.

⁸ *Ростопчин Ф. В.* *Записки о 1812 годе* // *Ростопчин Ф. В. Ох, французы!* М., 1992. С. 289—290.

⁹ *Записки актрисы Фюзиль* // *Флизи, де ла. Поход Наполеона в Россию*. М., 2003. С. 144.

¹⁰ *Surruques. L'abbé Surruques, témoin oculaire, et curé de l'église de Saint-Louis, à Moscou*... P. 10.

¹¹ 1812 год: Французы в Москве (по рассказу аббата Сюрюга). С. 202—204.

¹² *Tolstoy D. A.* *Op. cit.* P. 80; *Mirot L.* *Op. cit.* P. 40.

¹³ *Mirot L.* *Op. cit.* P. 40.

¹⁴ Помимо писем отцу Буве от 19 октября (ст. ст.) и 8 ноября (ст. ст.) 1812 г. (*Surruques. L'itres sur l'incendie de Moscou...*), письма от 10 ноября (ст. ст.) 1812 г. аббату Николю (Рус. архив. 1882. № 4. С. 196–204), «Журнала» (*Surruque A. Mil huit cent douze...*), письма от 9 ноября (ст. ст.) 1812 г. С. Сестреневичу, архиепископу Могилевскому (*Surruque A. Mil huit cent douze...* Р. 64–71), мы располагаем текстом выступления Сюрюга 26 октября 1791 г. на заседании совета тулузского коллежа (*Mirot L. Op. cit. P. 9*), материалами к выступлению Сюрюга на заседании того же органа 29 декабря 1791 г. (*Ibid. P. 10–11*), отрывками из письма племяннику Моро де Шарни от 21 февраля 1809 г. (*Ibid. P. 22*), выдержками из письма аббату де Бийи, вероятно, 1812 г. (*Ibid. P. 27*), выдержками из писем различным лицам, приведенными Д. А. Толстым (*Tolstoy D. A. Op. cit. P. 80, 196, 199*), отрывком из ответа Сюрюга в мае 1791 г. на запрос Директории дистрикта Тулузы (*Mirot L. Op. cit. P. 8*), а также пересказом содержания письма, отправленного 2 мая (ст. ст.) 1808 г. архиепископу Могилевскому.

¹⁵ *Вергилий*. Энеида. II, 324–326.

¹⁶ В действительности служба в некоторых русских церквях Москвы в эти дни все-таки была.

¹⁷ *Tolstoy D. A. Op. cit. P. 199*.

¹⁸ На утро следующего дня после начала пожаров и грабежей, 3 сентября (ст. ст.), когда все лавки были уже разгромлены, «осталось только несколько русских книжных магазинов». Они, как можно предположить по тексту, русскую чернь не интересовали.

¹⁹ То, что аббат благодаря долгой жизни в России проникся некоторыми обычаями, например, использовал почти исключительно русский (юлианский) стиль, несколько не отразилось на основополагающих понятиях, которыми он руководствовался.

Н. Н. Баранов

Фридрих Науман: становление интеллектуала

Образ Фридриха Наумана в исторической памяти немцев и политической культуре ФРГ предстает олицетворением национальной либеральной традиции, очищенной от «исторического греха» тех либералов, которые фактически отреклись от своих ранних идей в пользу бисмарковского имперского национального государства. В нем видят также символ преемственности современной Германии — республики и демократии с либе-